

Глава 1

Я американец, родился в Чикаго — мрачноватый город этот Чикаго, — держусь независимо — так себя приучил и имею собственное мнение: кто первым постучит, того и впустят; иногда стук в дверь бывает вполне невинный, иногда не очень. Но, как говорил Гераклит, судьба человека — его характер, и, в конце концов, характер стука ничем не скроешь — ни обивкой двери, ни толщиной перчатки.

Каждый знает — все тайное становится явным; если скрываешь одно, то потянется и другое.

Мои родители мало что значили для меня, но Маму я любил. Она была простовата, и я усвоил не ее нравов-учения, а наглядные уроки. Чему она могла научить, бедняжка? Мы с братьями любили ее. Я говорю от лица обоих: старший вполне разумный человек, а вот за младшего, Джорджи, я просто обязан говорить, ведь он слабоумный с рождения, но в его любви к матери нет никаких сомнений: у него была даже песня, он распевал ее, передвигаясь на негнущихся ногах на заднем дворе вдоль ограды из колючей проволоки:

Джорджи Марч, Оги, Сайми,
Винни Марч — все любят мамми.

Он ошибался лишь в том, что касалось Винни, пуделя Бабушки Лош, — старой, одышливой, закормленной собаки. Мама прислуживала Винни, так же как и Бабушке Лош. Тяжело дыша и поминутно испуская газы, собака лежала рядом с креслом старой

4 дамы на подушке с вышитым изображением бербера, целящегося во льва. Она принадлежала Бабуле лично, входила в ее окружение; остальные были подданными, особенно Мама. Мама приносила собаке еду, вручала миску Бабуле, и Винни вкушала пищу у бабушкиных ног — можно сказать, из рук старой дамы. Ручки и ножки Бабули были крошечными, гармошка фильдекосовых чулок спускалась в серые тапочки — серые войлочные тапочки, такой цвет угнетает душу — с розовыми ленточками. У Мама же ноги были громадные; дома она ходила в мужских ботинках, обычно без шнурков, и в чепце, смахивающем на причудливое хлопчатобумажное подобие человеческого мозга. Кроткая, крупная, с круглыми, как у Джорджи, глазами, зелеными и мягкими, с удлинненным нежным и свежим лицом. С покрасневшими от работы руками, с оставшимися редкими зубами, готовыми принять возможный тычок; как и Саймон, она носила обтрепанный длинный свитер. На круглые глаза Мама надевала круглые очки, которые ей вручили в благотворительной аптеке на Гаррисон-стрит, куда я сам ее отвел. Наученный Бабушкой Лош, я отправился туда, чтобы соврать. Теперь мне ясно, что врать было совсем не обязательно, но тогда все думали, будто необходимо; особенно на этом настаивала Бабушка Лош — одна из последовательниц Макиавелли на нашей улочке и в ближайших окрестностях. Итак, Бабуля, заранее состряпавшая это вранье, — она, должно быть, часами вынашивала его в своей холодной комнатенке, согревая крошечное тельце под периной, — поучала меня за завтраком. Она исходила из того, что наша мать не очень умна. То, что в данной ситуации ум, возможно, и не нужен, как-то не приходило нам в голову; главное — требовалась победа. В аптеке могли поинтересоваться, почему благотворительная организация не заплатила за очки. Разговор об организации поддерживать не надо, просто сказать, что отец то присылает нам деньги, то нет,

и Мама вынуждена держать квартирантов. Тут действительно следовало проявить такт и осторожность — что-то говорить, о чем-то умалчивать. Они это понимали, и я в свои девять лет улавливал разницу. Не то что мой брат Саймон — тот был слишком прямолинеен и не гибок; кроме того, из книг он вынес представления о чести английского школьника. «Школьные дни Тома Брауна» долгие годы оказывали на него влияние, разделить которое мы не могли.

Саймон — скуластый блондин с большими серыми глазами и руками игрока в крикет. Его руки я оцениваю по иллюстрациям — сами мы ни во что не играли, кроме софтбола. Его слабость к английскому стилю вступала в противоречие с ненавистью к Георгу III¹. В то время мэр приказал школьному начальству приобрести книги по истории, где деяния этого короля оценивались весьма мрачно. Корнуоллис² возбуждал особое негодование Саймона. Меня восхищал патриотический порыв брата, его глубоко личная ярость, вызываемая генералом, и удовлетворение от капитуляции того в Йорктауне — оно частенько накатывало на него во время ланча, когда мы ели сэндвичи с болонской колбасой. Бабуле в полдень полагался отварной цыпленок; иногда стриженному под ежика малышу Джорджи перепала его любимая шейка, он дул на этот хребтообразный орган не столько чтобы его охладить, сколько из любви к нему. Искреннее чувство гордости за одержанные военные победы мешало Саймону преуспеть в аптеке, где требовалось ловчить; он был слишком высокомерен, чтобы лгать, и мог все испортить. Мне

¹ Георг III (1738—1820) — король Великобритании, один из вдохновителей английской колониальной политики и борьбы с восставшими североамериканскими колониями. — *Здесь и далее примеч. пер.*

² Чарлз Корнуоллис (1738—1805) — командовал в чине генерала английскими соединениями во время Войны за независимость в Северной Америке (1776—1783).

6 же можно было доверить такое дело, ибо я получал от него удовольствие. Любил предварительно разработать стратегию. Обладал разного рода энтузиазмом: как у Саймона, хотя Корнуоллис не вызывал у меня таких сильных чувств, так и присущим Бабушке Лош. В том, что мне следовало сказать в аптеке, была толика правды: у нас действительно жила квартирантка. Ею являлась Бабушка Лош, не приходившаяся нам родственницей. Бабуле помогали два сына: один жил в Цинциннати, другой — в Расине (штат Висконсин). Невесткам она на дух была не нужна, и потому Бабуля, вдова могущественного одесского дельца, казавшегося нам божеством, — лысый, заросший щетиной, с большим толстым носом, однобортный сюртук сидел на нем как броня, жилет основательно застегнут на все пуговицы (его подсиненная фотография, увеличенная и отретушированная господином Луловым, находилась в гостиной, засунутая за оправу стоявшего на полу зеркала; свод печи как раз граничил с туловищем бизнесмена) — предпочитала жить у нас. За эти долгие годы Бабуля приучилась вести хозяйство, распоряжаться, управлять домом, планировать, учитывать, проявлять изобретательность и плести интриги на разных языках. Она хвасталась, что знает французский и немецкий, не считая русского, польского и идиш; но кто, кроме господина Лулова, художника-ретушера с Дивижн-стрит, мог проверить, насколько она владеет французским? А тот, сутулый и галантный любитель чая, тоже вызывал сомнения. Впрочем, он работал таксистом в Париже, и, если это было правдой, мог говорить по-французски, как мог выстукивать карандашом на зубах мелодии или петь, отбивая ритм большим пальцем на столе, зажав в руке пригоршню монет, или играть в шахматы.

Бабушка Лош играла и в шахматы и в клабиаш. Она отпускала язвительные замечания, глаза ее метали молнии. В клабиаш она играла с господином Крейндлом, нашим соседом, который и научил ее этой игре. Плот-

ный мужчина с короткими пальцами и огромным животом, он с силой бил по столу, сбрасывая карты, и вопил:

— Shtoch! Yasch! Menél! Klabyasch!¹

А Бабуля бросала на него саркастические взгляды.

После его ухода она часто повторяла:

— Если дружишь с венгром, враг тебе не нужен.

Но в господине Крейнделе не было ничего враждебного. Просто иногда его голос звучал угрожающе — привычка сержанта рявкать перед строем. В свое время он служил в австро-венгерских войсках, и в нем осталось что-то от прежнего служака: вывернутая от постоянного перемещения артиллерийских орудий шея, красное, обветренное лицо, мощная челюсть и золотые коронки на зубах, косящие зеленые глаза и мягкие, коротко подстриженные волосы — под Наполеона. Ноги его образовывали угол, который привел бы в восхищение Фридриха Великого, но для зачисления в гвардию ему не хватало около фута роста. Держался он очень независимо. Они с женой — женщиной спокойной и скромной на людях, но вздорной и крикливой дома, — а также сыном, изучающим стоматологию, жили в цокольном этаже. Их сын Котце по вечерам работал в аптеке на углу и ходил в училище при окружной больнице; это он рассказал Бабуле о бесплатной раздаче лекарств бедным. Точнее, старуха сама послала за ним, чтобы узнать, чем можно поживиться в государственных заведениях. Она требовала к себе и других: мясника, бакалейщика, торговца фруктами, — принимала их на кухне и каждому объясняла, что Марчам надо делать скидки. Маме при этом следовало стоять рядом. Старуха внушала им:

— Вы сами все видите. Разве нужны слова? В доме нет мужчины, а детей надо растить.

Это был ее обычный аргумент. Когда пришел социальный работник Лубин, все осмотрел и уселся на кух-

¹ Эмоциональные выкрики на идиш.

8 не, самоуверенный, плешивый, в очках с золотой оправой, с приятной полнотой и снисходительной ухмылкой, Бабуля накинулась на него:

— Как тут можно растить детей?

Он слушал, пытаясь сохранять спокойствие, но постепенно становился похож на человека, который с трудом держит себя в руках.

— Что ж, моя дорогая, миссис Марч могла бы повысить вашу квартплату, — сказал он.

Бабуля, должно быть, много чего ему наговорила, потому что временами выпроваживала нас из кухни, чтобы остаться с ним наедине.

— Вы хоть представляете, что тут было бы без меня? Вы должны благодарить меня за то, что я не даю семье развалиться. — Не сомневаюсь, она еще прибавила: — Вот когда я умру, мистер Лубин, у вас действительно появятся проблемы.

На сто процентов уверен, что именно так она и сказала. Нам же Бабуля не рассказывала ничего такого, из чего можно было заключить, будто когда-нибудь придет конец ее владычеству. Впрочем, подобное заявление повергло бы нас в глубокий шок, и она, чудесным образом проникая в наши мысли, принадлежала к владыкам, точно рассчитывающим уровень любви, уважения и страха в своих подданных, и потому понимала, как это нас потрясет. А вот Лубину по стратегическим причинам и еще потому, что выражала чувства, которые испытывала на самом деле, она должна была это сказать. Он выслушивал ее со скрытым раздражением («бывают же такие клиенты»), пытаясь казаться хозяином положения. Котелок он держал на коленях (коротковатые брюки открывали белые носки и увесистые ботинки — черные, потрескавшиеся, со вздутыми носами) и смотрел на него, как бы решая, стоит ли дать волю гневу.

— Я плачу сколько могу, — говорила Бабуля.

Она извлекла из-под шали портсигар, ножницами для рукоделия разрезала напополам сигарету «Мурад»

и взяла мундштук. В то время женщины еще не курили. Кроме интеллигенток — к ним она причисляла себя. Ее лучшие планы рождались, когда она сжимала мундштук потемневшими деснами, за которыми зрели хитрость, злоба и приказания. Вся в морщинах, как старый бумажный пакет, она была тираном, жестоким и коварным, когтистым старым хищником большевистского толка; ее маленькие серые ножки в ленточках покоились на табуретке, изготовленной Саймоном на уроке труда, а рядышком на подушке лежала старушка Винни со спутанной грязной шерстью, и вонь от нее шла по всему дому. То, что мудрость и недовольство не всегда ходят рука об руку, я узнал не от этой старухи. Угодить ей было невозможно. Например Крейндла, на которого мы всегда могли положиться, Крейндла, приносившего нам уголь, когда Мама болела, и уговорившего Котце выписывать нам бесплатные рецепты, она называла «поганый венгр» или «венгерская свинья»; миссис Крейндл звала «затаившаяся гусыня», Лубина — «сын сапожника», дантиста — «мясник», а мясника — «застенчивый жулик». Дантиста она ненавидела — тот неоднократно пытался подправить ей протез, но она обвинила его в том, что, делая снимки, он чуть не сжег ей челюсть. Тогда она просто вырвала его руки изо рта. Я сам это видел: невозмутимый, квадратного телосложения доктор Верник, плечи которого могли бы удержать медведя, был с ней предельно внимателен, сосредоточен, реагировал на все ее сдавленные крики и не терял выдержки, когда она начинала царапаться. Я с трудом выносил это зрелище, и, не сомневаюсь, доктору Вернику тоже было меня жаль, но кому-то, Саймону или мне, приходилось повсюду ее сопровождать. Здесь же ей особенно требовался свидетель жестокости и грубости Верника, не говоря уж о плече, на которое она могла бы опереться, еле волоча ноги на пути к дому. В десять лет я был немалого ее ниже и легко поддерживал немощное тело.

10 — Ты видел, как он заграбастал мое лицо своей лапищей и не давал дышать? — говорила она. — Бог создал его мясником. Зачем он стал дантистом? У него грубые руки. Нежное прикосновение — вот что отличает настоящего стоматолога. Если у него не руки, а крюки, то нечего идти в дантисты. Но его жена из кожи вон лезла, чтобы выучить его на дантиста. А в результате страдаю я.

Остальные должны были ходить в бесплатную амбулаторию — мне это представлялось чем-то вроде множества стоматологических кресел, сотен кресел, стоящих на огромном пространстве, подобном оружейному складу; на фарфоровых крутящихся подносах — плевательницы с изображением виноградных лоз, буры, вздымающие острия, как насекомые лапки, газовые горелки; и все это в грозном, внушающем ужас строении — одном из известняковых домов на Гаррисон-стрит, по которой ходили громоздкие красные трамваи с железными решетками на окнах. Они грохотали, звенели, тормоза пытели и свистели — и в слякотный зимний день, и в летний, когда каменные мостовые раскалялись от солнца, пропахшие пеплом, дымом, пылью прерий; особенно долгие остановки были у больниц, где из вагонов вываливались инвалиды, калеки, горбуны, люди на костылях, со штырями в костях, страдающие от зубной боли, а также все остальные.

Итак, перед походом с Мамой за очками старуха всегда инструктировала меня, а я должен был сидеть перед ней и внимательно слушать. Маме тоже следовало присутствовать: проколы не допускались. Ей предписывалось молчать.

— Помни, Ребекка, — повторяла Бабуля, — на все вопросы отвечает он.

Покорная Мама даже «да» боялась произнести — сидела, сложив длинные руки на радужном платье, которое заставила надеть Бабуля. Никто из нас не унасле-

довал великолепный цвет ее кожи, как и форму 11
изящного носа.

— Ничего не говори. Если тебе зададут вопрос, смотри на Оги — вот так. — И она показывала, как Маме следовало повернуться ко мне — настолько точно, чтобы при этом не уронить своего достоинства. — Сам не высовывайся. Только отвечай на вопросы, — учила она меня.

Мама очень волновалась — только бы я справился, исполнил все точно. Мы с Саймоном были чудом, случайностью; Джорджи — вот кто ее настоящий сын, ее судьба после незаслуженного дара.

— Оги, слушай Бабулю. Слушай, что она говорит, — только и могла она сказать, пока старуха развивала свой план.

— Когда они спросят: «Где твой отец?» — отвечай: «Не знаю, мисс». Не важно, сколько ей лет, все равно говори «мисс». Если она захочет знать, когда вы последний раз получали от него известия, ты должен ответить, что два года назад он прислал денежный перевод из Буффало, и больше никто о нем ничего не слышал. И ни слова о благотворительных организациях. Даже не упоминай о них, слышишь? Спросит, сколько платите за квартиру, скажи — восемнадцать долларов. Спросит, откуда деньги, скажи — держим жильцов. Сколько? Двоих. Теперь повтори: какова арендная плата?

— Восемнадцать долларов.

— А жильцов сколько?

— Двое.

— И сколько они платят?

— А что я должен сказать?

— Каждый восемь долларов в неделю.

— Восемь долларов.

— Если твой доход шестьдесят четыре доллара в месяц, ты не можешь обратиться к платному врачу. За одни глазные капли, которыми он обжег мне глаза,

12 я заплатила пятерку. А вот эти очки, — похлопала она рукой по футляру, — обошлись мне в десять долларов за оправу и пятнадцать — за стекла.

Имя моего отца упоминалось только в случае крайней необходимости — вот как сейчас. Я утверждал, что помню его, Саймон категорически не соглашался со мной и был прав. Мне нравилось воображать нашу встречу.

— Он носил форму, — говорил я. — Точно помню. Он был солдатом.

— Как бы не так! Ничего ты не помнишь!

— Может, моряком.

— Черта с два! Он водил грузовик прачечной «Братья Холл» по Маршфилду; шофером — вот кем он был! А ты говоришь — носил форму. Как же! Выходит — обезьянка видит, обезьянка слышит, обезьянка говорит¹.

Эти обезьянки очень нас занимали. Они стояли на туркестанской дорожке на комод, их глаза, уши и рты были закрыты: не вижу зла, не произношу зла, не слышу зла — низшая домашняя троица. Преимущество таких божков в том, что вы можете обращаться с ними вольно. «Требую тишину в здании суда; хочет говорить обезьянка; говорите, обезьянка, говорите». «Обезьянка играла с бамбуковой палкой на лужайке...» В то же время обезьянки могли быть могущественными, вызывать благоговейный трепет и даже становиться серьезными социальными критиками, когда старуха, подобно далай-ламе — она всегда ассоциировалась у меня с Востоком, — указывала на сидящую на корточках коричневую троицу с раскрашенными ярко-красной краской ртами и ноздрями и глубокомысленно — ее враждебность к миру подчас достигала величия — изрекала:

¹ Имеется в виду нэчке с фигурками трех обезьянок, одна из которых закрывает глаза, вторая — рот, третья — уши.

— Никто не заставляет тебя всех любить — 13
просто будь честным, ehrlich¹. Не будь слишком активным. Чем больше любишь людей, тем больше они тебе мешают. Ребенок любит, взрослый уважает. Уважение дороже любви. Вот эта средняя обезьянка — воплощенное уважение.

Нам никогда не приходило в голову, что сама она еще как грешила против этой обезьянки, крепко зажавшей себе рот, чтобы «не произносить зла»; никогда даже тень критики не туманила наши головы — особенно если кухня наполнялась зычно произносимыми правилами морали.

Бабуля читала нотации над головой бедняги Джорджи. Он целовал собаку. Когда-то та была шустрой, кусачей компаньонкой старухи. Теперь же стала ленивой соней и заслуживала уважения за годы правильной, но не слишком приятной жизни. Однако Джорджи любил ее — и Бабулю, у которой целовал рукава, колени, обхватывая поочередно обеими руками то ногу, то плечо и выставив вперед нижнюю губу, — невинный неповоротливый увалень, ласковый, нежный, привязчивый; кофточка вздувалась на его маленькой попке, а короткие белесые волосы торчали, словно колючки на репейнике, или напоминали облущенный подсолнух. Старуха позволяла ему обнимать ее и говорила что-то вроде:

— Эй ты, малыш, умный junge², ты ведь любишь свою Бабулю, мой паж, мой кавалер. Молодчина. Ты знаешь, кто добр к тебе, кто дает тебе грызть шейки и крылышки? Ну кто? Кто дает тебе лапшу? Вот именно. Лапша скользкая, ее трудно подцепить вилкой и удержать в пальцах. Ты видел, как птичка тащит червяка? Червячок хочет остаться в земле. Он не хочет вылезать на поверхность. Ну ладно, ладно... ты совсем обмусолил мое платье. Оно стало мокрым.

¹ Честным (нем.).

² Мальчик (нем.).

14 Она резко отталкивала старческой негнушейся рукой его голову и призывала нас с Саймоном, никогда не забывая о своей обязанности учить уму-разуму, и мы в очередной раз слушали, как доверчивых, простодушных и любящих повсюду окружают хитрецы и злыдни, а также о бойцовских качествах птиц и червей и о пропащем, бездушном человечестве. В качестве примера приводится Джорджи. Но наиглавнейшей иллюстрацией, подтверждающей правоту ее слов, являлась Мама, брошенная с тремя детьми, и все из-за своего простодушия и любовной зависимости. Бабушка Лош намекала, что теперь обретенную мудрость отдает второй семье, которой вынуждена руководить.

А что должна была думать Мама, когда при каждом удобном случае в разговоре всплывало имя отца? Она покорно слушала. Мне кажется, ей вспоминались какие-то мелочи: его любимое блюдо — возможно, мясо с картошкой, или капуста, или клюквенный соус; он мог не любить накрахмаленные воротнички или, наоборот, мягкие; мог приносить домой «Ивнинг Американ» или «Джорнал». Думала она так, потому что мысли ее были всегда незамысловаты, но ощущала покинутость, и неясные муки — сильные, хотя и неосознанные, — вносили смуту в ее простой ум. Не знаю, как она жила прежде, когда мы остались одни после ухода отца, но с появлением Бабули наша семейная жизнь пришла в порядок. Мама передала той бразды правления — хотя не уверен, что она знала об их существовании, — а сама взяла на себя всю черную работу; думаю, она принадлежала к женщинам, сраженным высшей любовной силой, — таких брал Зевс, принимая облик животного, а потом придумывал всякие отговорки, чтобы смягчить разгневанную жену. Не то чтобы я считал свою крупную кроткую неопрятную Маму, всегда что-то чистившую или перетаскивающую, красавицей беглянкой, скрывавшейся от гнева сильных мира сего, или своего отца невозмутимым олимпий-

цем. Мама обметывала петли на верхнем этаже фабрики одежды на Уэллс-стрит, а отец развозил белье в прачечной — после его исчезновения у нас даже фотографии не осталось. И все же она занимает место среди этих жертв по праву непрекращающегося платежа. А что до мести со стороны женщины, то тут право первенства принадлежало Бабушке Лош, накладывающей наказания в соответствии с законами, популярными среди большинства замужних женщин.

И все же у старой дамы имелось сердце. Я не хочу сказать, что оно отсутствовало. У нее были черты тирана и снобистские воспоминания об одесском великолепии, слугах и гувернантках, но, побывав на вершине, она также хорошо знала, что такое терпеть неудачу. Я понял это позже, когда прочел некоторые романы, за которыми она посылала меня в библиотеку. Бабуля научила меня русским буквам, и потому я мог прочитать название. Ежегодно она перечитывала «Анну Каренину» и «Евгения Онегина». Время от времени я приносил не ту книгу, чем вызывал неукротимый гнев.

— Сколько раз тебе говорить, что не нужна мне книга, если это не роман? Ты даже не раскрыл ее. У тебя что, такие слабые пальцы? Как же ты умудряешься играть в мяч или ковырять в носу? Тут тебе силы хватает! Боже мой! — Последнее прозвучало по-русски. — У тебя куриные мозги, если ты проходишь две мили, чтобы вручить мне книгу о религии, потому что на обложке написано «Толстой».

Старая *grande dame*¹ — не хочу выставить ее в ложном свете — с подозрением относилась к самому ничтожному проникновению дурной наследственности, семейного порока, с помощью которого нами могли манипулировать. Она не хотела знать, что написал Толстой о религии. Графиня мучилась с ним, и потому

¹ Знатная дама (*фр.*).